

Два Авраама

Есть города, обреченные на умирание. И даже обилие китайских закусовых и торговых центров никого не вводит в заблуждение.

Есть города, обреченные на умирание. Особенно поздней осенью, когда ландшафт, освобождаясь от излишеств, становится лаконичным, бесстрастным, сухим.

Повсюду рождественские ярмарки. Хрупкие стеклянные игрушки, карусель, сладкие рождественские песенки. Нет ничего более веселого, обнадеживающего и лживого, чем праздничная ярмарка во время войны. Рождественская пытка весельем. Бенгальский огонь в окошке напротив. Мерцание разноцветных лампочек.

Я помню, как в окнах напротив почти одновременно выключался свет, и люди один за другим выходили в морозную ночь. Я видел это из своего окна и понимал, что это всего лишь вопрос времени.

Я видел, как женщины, одетые в шубки и пальто поверх затрапезного домашнего платья, инстинктивно ищут защиты у мужей, как дети жмутся к матерям, как мужчины, сохраняя достоинство, пытаются «не терять лица».

Я видел профиль старика за мятой занавеской, возможно, он думал, что его все-таки не тронут. Кому нужны старики? Зачем лишать старика обжитого места, сдергивать с кресла, отрывать от зачитанных книг, от прокопченных стен?

Я видел, точно в замедленной съемке, летящее из окна третьего этажа инвалидное кресло.

Есть города, обреченные на память.

– Вы еще не были в гетто? Сходите непременно в гетто, послушайте про гетто, – вот в этом самом месте было гетто.

Там доживала свою жизнь семья из шести человек. Каждую ночь прислушивались они к звукам, – сейчас? Завтра? Когда?

Каждую ночь в них просыпалась надежда. Во-первых, не может такого быть. Просто не может.

За стенами Рождество. Время чудес. Хотите святочный рассказ? Про чудо?

Сколько дней он просидел в подвале? Месяц? Два? Год? Там только и были что крысы. С одной из них он вел долгие ночные беседы. О, это была умнейшая крыса, с могучим интеллектом. Он звал ее Авраам. Авраам уходил, оставляя его на несколько часов, но всегда возвращался с какой-нибудь мелочью. То свечным огарком, то коркой заплесневелого хлеба. Авраам молча клал добычу к его ногам. И садился неподалеку. Во тьме крохотные глазки его поблескивали, казалось, в них проступает некоторое подобие сострадания. В конце концов, Авраам был единственным живым существом на расстоянии вытянутой руки.

Говорят, нет существа умнее крысы. Все говорят о людях, и никто не вспоминает крыс. Это было великое нашествие крыс. Гетто буквально кишело крысами, и многие утонченные натуры не выдерживали. Женщины сходили с ума. Те самые женщины, которые не желали расставаться

с какими-то милыми безделушками, шляпками, чулками, шкатулками. Они сходили с ума в буквальном смысле слова. Одна мысль о том, что где-то рядом прошмыгнет крыса, не давала покоя. Некоторое время они пытались жить «как раньше», «как будто ничего не». Нельзя было говорить о смерти, о том, что происходит в двух шагах от стены. Но крысы, вездесущие крысы, они, словно посланцы «с того света», шушали и скреблись совсем близко, здесь, и еще вот здесь... Господи, Авраам, сделай же что-нибудь, я так долго не выдержу.

Вы не были в гетто? Непременно сходите. Сходите в солнечный день, их так мало бывает зимой, но именно в солнечный день вы увидите то, чего не видели они.

Его звали Авраам. Это он помнил точно. Возможно, в той, прежней, жизни его звали иначе. Возможно, он был профессором или врачом-окулистом. Он помнил круглый стол в столовой, сервиз на двенадцать персон. Соня, Эбигейл, Руфь, Юзек, Шимон, Суламифь, Бася...

Порой, чтобы не сойти с ума, он шевелил губами, каждого называя по имени. Боялся упустить хоть какую-то деталь.

Юзек был франтом, транжирой. Шимек отличался рассеянностью, похоже, это передается по наследству. Возможно, его гены, Авраамовы. Эбигейл была красавицей, буквально с обложки модного журнала. Бася хромала, плохо видела, натыкалась на стулья, все время падала. Доходило до смешного.

– Аба¹, Бася опять упала, – смеялся Юзек, и тут начиналась невообразимая суета, какая-то игра под названием «поймать старушку».

Бася все падала и падала, как в кино, и всегда находился тот, кто успевал... буквально в метре от земли.

Однажды она таки упала. Однажды она упала, и раздался смех. Боже, как это было смешно, ведь это действительно смешно. Падение старушки, допустим, из окна третьего этажа.

Руфь, Соня, Эбигейл. Нет ничего прекрасней алой помады на губах юной Эбигейл. Прекрасны в подвесках щеки твои, в ожерельях – шея твоя...

Рыжая Эбигейл была насмешницей, каких мало, она была из тех, кто всегда «негед»², счастливая упряmica, капризная Эбигейл.

Темноглазая Соня была тихоней, она читала книжки. Сколько раз она слышала, – прекрати читать в полумраке, испортишь глаза. Голубка моя в расщелинах скал, под кровом уступов! дай мне увидеть лик твой, дай мне услышать голос твой! ибо голос твой сладок, и лик твой прекрасен!

Сколько раз, лежа в крошечной тьме, он звал их по именам, перебирал, точно сокорища, их детские ужимки, капризы, кокетство, непослушание, дерзость. Эбигейл была дерзкой, Соня – кроткой. Шимек – высокомерным. Нет, высокомерным был как раз Юзек, а Шимек был нежным, тихим, рассеянным. Руфь была терпеливой, она была исполнена ангельского терпения.

Суламифь...

Была ли Суламифь? Была ли она? Или это плод его воображения...

Как алая нить – твои губы, как дольки граната виски твои. Шея твоя подобна башне Давидовой. Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей как запах Леванона.

Он ждал подтверждения от Авраама. Шорох у стены означал жизнь. Суламифь это сама жизнь. Хоть какую-то весточку от нее.

К счастью, он ничего не слышал, не видел, – ни причитаний Баси, ни бледного лица насмешницы Эбигейл. Ни тихих шажков Сони, ни книги, которую она оставила под подушкой.

Соня читала книги. Заканчивалась одна, начиналась следующая. Освещение было скудное, но это ей не мешало. Побереги глаза, прекрасные свои глаза, зажги в столовой лампу, посмотри, какие огни за окном. Сколько света. Больно глазам. Там празднуют Рождество, звенят бокалы. Слышен грохот посуды...

¹Аба (ивр.) – папа.

²Негед (ивр.) – против.

Кого смутит разбитая чашка, если перевернут стол?

В крошечной тьме нет ничего важнее слуха. Нет ничего важнее шороха крошечных лап. Сколько времени он просидел так? Год? День? Вечность?

Слушайте внимательно, дети. Память никуда не девается. Невозможно заткнуть дыру. Невозможно не знать. Невозможно не помнить. В этом доме жила Суламифь. Руфь, Эбигейл, Шимон, Соня.

Звук включенного радио заглушал крики и выстрелы. Хотя вряд ли там было радио. Но можно представить себе, что все-таки было. Романсы, марши, мазурки звучали безостановочно. Лучше, чем мертвая тишина, лучше, чем сдавленные рыдания. Итак, музыка, – вдохновляющая, сентиментальная, сладкая. Мерцание праздничных огней. Ослепляющий свет прожекторов, остервенелый лай овчарок.

Вытянув вперед руки, он делает шаг, еще один. Белый, точно лунь, бредет вдоль стены. Совсем не старик, последний из дюжины. Пальцы его стерты до крови. Он боится яркого света.

Каждую ночь он ждет Авраама. Вы видели Авраама?

Он шевелит губами, – Руфь, Эбигейл, Шимон, Суламифь...

Варшава, 2023

Рука бога

У Дони Грач детское сердце. Так сказала педиатр Поплавская, неулыбчивая женщина без возраста, и Дониная мать протяжно всхлипнула, комкая в ладони носовой платок. Поплавская сразу засобиравлась, укладывая в докторский саквояжик блестящие штучки, и бойко застучала каблучками по коридору – там, на общей кухне, торопливо ополоснув холодные свои белые пальцы (на одном из них блеснуло колечко с камушком бирюзы), поискала глазами полотенце, но так и не решилась воспользоваться захватанным вафельным, висющим на кривом гвозде.

После визита участковой Дони отправили «на воздух» и велели дышать, так как в доме травили клопов, то ли керосином, то ли еще какой вонючей жидкостью, но в прошлый раз, надышавшись этой гадости, Доня долго болела, ее сильно тошнило и даже вырвало, и Поплавская кричала на мать, а мать казалась маленькой, жалкой, несчастной, и, собственно говоря, так оно и было, Доня не помнила мать молодой и веселой, и иногда задавалась вопросом, почему у других детей во дворе матери молодые, а у нее, у Дони – старая. Это было обидно, ведь каждый мог накричать на нее и натопать ногами, и особенно участковая, которая брезгливо ощупывала Донин живот, и Доня стояла, выпятив пузо, стараясь не дышать, не хватало еще, чтобы к детскому сердцу прибавилось что-то еще. Доне хотелось быть здоровой, прыгать на одной ножке, как другие девочки во дворе, но вместо этого, тяжело дыша, она спускалась по лестнице и стояла у подъезда, укутанная в тяжелое пальто с проплешинами. Гулять нужно было для здоровья, и это как раз было легко, потому что все остальное было дорого. Например, яйца, домашний творог, печенка, витамины.

Дом был старый, «под снос», но его отчего-то не сносили, наверное, ждали каких-то особых распоряжений, а люди тем временем обживали темные тесные норы, обставленные темной случайной мебелью – столами, шифоньерами, разнокалиберными стульями. В доме любили, оплакивали, рожали, но больше скандалили, а иногда (в хорошие дни) слушали романсы в исполнении Изабеллы Юрьевой.

Мать уходила на работу, она работала в горячем цеху, а Доня сидела у окна в боковой комнате (восемь метров) и играла в прищепки или свечи. Вообще же, ей никогда не было скучно или тоскливо, потому что прищепку или свечу можно было завернуть в тряпочку, и получалась кукла, много кукол, у них были имена, и Доня иной раз, заигравшись, забывала о том, что голодна.

А когда вспоминала, то украдкой пробиралась на кухню и там находила замотанный в холщовую тряпицу кусочек хлеба или вареного картофеля. Позже приходила мать, она долго разматывала теплый платок, и сидела некоторое время с вытянутыми ногами, и Доня помогала ей стачить боты, и ставила их в угол. С бот натекала грязная лужица, и Доня, стараясь быть нужной и полезной, несла тряпку, и, по-взрослому кряхтя, подтирала лужицу и вместе с матерью прибирала накрытый клеенкой шаткий стол. Из чугунка валил сытный картофельный пар, и Доня, почти счастливая, засыпала прямо за столом и не слышала, как стол сдвигался, и мать относила ее в постель, а после, стоя у окна, расплетала бледную свою косицу, расстегивала кофту, под которой обнаруживалась фуфайка, а под ней – желтоватое штопаное белье и жидкая синеватая грудь. Мать укладывалась вместе с Доней, подтягивала ее к себе, лежа на боку и обняв одной рукой, и Донины живот и спина согревались, оттаивали, и вот уже они дышали в унисон, становясь единым целым.

Утром включалась радиоточка, и Доня, еще не проснувшись, чувствовала, как что-то теплое и мягкое отделяется от ее тела, но глаза ее были закрыты, пока мать, белея в утреннем молочном свете худыми плечами и руками, надевала кофту, юбку, фуфайку и из теплого живого организма вновь становилась почти старушкой. Конечно, если бы Доня раскрыла глаза, то она бы увидела, что мать совсем не так стара, и кожа ее светится в полумраке, и если бы не худоба и болезненность, не толстая фуфайка, не теплый платок...

Наверное, это было хорошее время Дониной жизни, когда мать, пусть не такая молодая и красивая, как у других, была рядом, она сердито вела ее, Доню, к трамвайной остановке, там стояли какие-то люди с корзинами и мешками. Веселый молодой мужчина, смеясь, резко подхватил Доню и поставил на подножку трамвая, и трамвай, долго петляя между заснеженными улицами, все ехал себе и ехал, и на мутном окошке проступало облачко, которое Доня надвигала ртом.

Потом были ступени, кафельные плитки, длинный коридор, по нему, расписывая полное ведро, шла нянечка. В смотровой Доню раздели до трусов и долго вертели, крутили в разные стороны, щупали живот, прикладывали всякие холодные штуки, и один человек в белом халате и шапочке, похожий на бога, наверное, он и был бог, оправив на Доне резинку от трусов, внезапно рассмеялся и шелкнул по пупку. А потом по носу.

После Доня сидела за дверью и смотрела, как нянечка шворкает тряпкой и, кажется, сердится на нее, потому что с Дониных валенок натекла лужица. Время шло медленно, но Доне не было скучно, напротив, тусклый свет в коридоре утешал после резкого и холодного в смотровой, там Доня ощущала неловкость от того, что одетые люди смотрели на нее, раздетую до трусов, маленькую, с торчащим картофельным животом, и смех человека в белой шапочке оставил ее безучастной.

Через четверть часа дверь скрипнула и приоткрылась, и Доня, соскользнув со стула, приняла к просвету, в котором угадывался силуэт матери, ее подпрыгивающая голова и бледное лицо, как всегда, искаженное плачем.

Все люди в этом месте казались ей важными, большими, всесильными, даже нянечка с тряпкой и ведром. От какого-то немыслимого, тяжкого горя Доня тоже заплакала, и плач ее был мышиный, почти неслышный, но, странное дело, недобрая нянечка перестала сердито шворкать и повернула к ней плоское коричневое лицо – не бойсь, не бойсь, Артем Андреич добрый, он тебе сердчишко полечит, бегать будешь, в школу пойдешь, буквы учить станешь.

К разным словам, которые уже знала Доня, не так давно прибавились такие, как «сверхурочные», «смена», «паек», «карточки», это случилось недавно, слова возникали из полутеней, из сгустков, из холодного воздуха и картофельных очисток. Откуда-то из долгих сумерек вынырнуло слово «романс», к нему полагались соседкины шипцы для завивки и сползающий по стене шнур. Среди многих слов были любимые – сахар, снег, кукла, мама.

Присев на корточки, Артем Андреич (теперь она знала, так зовут бога) заглянул в Донины глаза и весело так, быстро спросил – куклу видела? Говорящую. Пойдем покажу. Большая кукла, с ресницами, говорит «мама», – и взял Донину руку в свою, сильную, теплую, и дальше они уже шли, четыре Дониных шажка на два мужских, и, очарованная, Доня позволила довести себя до лестничного пролета, а потом спохватилась и заревела густым басом, потому что вспомнила, что

мать только что была, и куда-то подевалась, она в отчаянье стала звать ее и вырываться, обнаружив невиданную силу, но рука бога держала крепко и, похоже, не думала отпустить.

Градусник

Я знаю, с чего, собственно, все началось. С градусника. С обычного ртутного термометра, важного, точно статский советник! Как самый главный врач, выносящий вердикт у постели больного.

Осторожней, не дай бог разбить!

Если вы не в курсе, ртуть это страшный яд.

Однажды из дома напротив выселили чуть ли не целый подъезд. Папу, маму, детей, старенькую бабушку и кошку! И все из-за того, что один мальчик (девочка) разбил градусник, и ртутные шарики закатились под тумбочку и под кровать, и собрать их было невозможно, и все в той квартире отравились, им делали промывание желудка!

Не дай бог потерять градусник в ворохе предметов, загромождающих стол или сервант! Ведь если что-то и падает со стола, то в первую очередь это градусник!

Боже тебя сохрани! Градусник вложить в плотный картонный цилиндр, завинтить крышечку, и сам футляр хранить на верхней полочке с другими важными предметами. Например, с университетским значком, который прикрепляют к лацкану пиджака, с плоской стальной флягой, из горлышка которой пахнет затхлым. Там же лежат бумажные папки с тесемками, и в них хранятся квитанции прошлого столетия, счета за давно отключенный телефон...

Кстати, телефона действительно нет. Как и градусника. Куда-то исчез тяжелый, внушающий почтение аппарат, никто даже и не подумал на прощанье поблагодарить его за долгий бескорыстный труд. Некоторое время он стыдливо таился в углу, по-стариковски поскрипывал, подавая признаки жизни...

Еще пару раз по нему звонили телефонные мошенники, хулиганы-вымогатели, один из них плаксивым голосом гнусавил: мама, мамочка, спаси, я сбил человека. Звонила плечистая женщина-комендант, какие-то бумажные голоса шелестели в трубке... И трубка пахла, разогреваясь от дыхания. Ах, как она пахла! Тревогой, ожиданием, долгими зимними вечерами, хвоей, Новым годом, поздравлениями, новостями...

– Мальчик, два пятьсот! У вас мальчик...

Она пахла обмороком тети Бети, коридором, пыльными книжками, анисовыми каплями, корвалолом и корнем валерианы. Она пахла молчанием, порой слишком долгим, нестерпимым, оглушительным. И эти гудки, короткие и длинные, и вкус металла во рту, и тусклый свет в доме напротив.

Деревья раскачивались, а вместе с ними фонари, и тротуар покрывался хрустящей ломкой корочкой, но ты, обвязанный колючим папиным шарфом, накрытый тяжелым одеялом, дышал во всю силу своих маленьких легких. Пахло горчичниками и ненавистным горячим молоком. С медом и содой. На столе лежал (вопреки всем предостережениям) градусник, его полагалось энергично встряхнуть...

Тридцать восемь и шесть! Виданое ли дело? Градусник, выполнив важную миссию, предусмотрительно упакованный в футляр, отправлялся восвояси, на дальнюю полку. Инфлюэнца, ангина, катар верхних дыхательных путей, не дай бог перейдет в бронхи, не дай бог!

Однажды, когда ты был маленьким...

Подложив сомкнутые ладони под щеку, свернувшись калачиком, ты сладко внимал монотонному дождю и этому тихому голосу. Прохладная ладонь на пылающем лбу, заботливо подоткнутое одеяло.

Совсем-совсем маленьким, очень давно...

Это сейчас ты большой, и сам листаешь книжки, с картинками и без, и, морщась, пьешь ненавистное горячее молоко с медом.

Еще немного, и первые в жизни часы украсят твою запясть. Кстати, куда же они подевались? Простые часы на плотном ремешке, самые прекрасные в мире. Исчезли в круговороте предметов? Затерялись на верхней полке? В дальнем ящике шкафа? В кармане плаща? Не может быть, чтобы они остановились. Их маленькие стрелки так нежно тикали, наполняя предчувствиями.

Касаясь предметов, лежащих на полке, я замираю. Блюдца с подробным орнаментом, плавные окружности тарелок, черенки вилок и серебряных ложечек, фарфоровые статуэтки и глиняные петушки, старые зеркала, стоящие под ними добротные, почти не сношенные женские туфли. Туфли бережливой женщины. Возможно, она чуть прихрамывала, потому что набойка на левом каблук почти целая, чего не скажешь о правом. Пряжка, небольшая царапина на носке. Немного распухшие шиколотки нависали над бортиками, но плотная добротная (сейчас таких уже не делают) кожа сжимала ступню, сообщая твердость походке и определенность намерениям.

Все началось с градусника. Вернее, с его пропажи. Или с синей лампы, обмотанной толстым шнуром. Я точно помню, в последний раз я видела ее на антресоли, рядом с поломанным смычком, полозьями санок и початой коробочкой ваксы.

Вжик-вжик! Как весело натирались узконосые туфли, ботиночки, сапожки. Ряд детской и взрослой обуви, выстроенной вдоль стены. Вот эти, купленные «по благу», с рук, у забытых нынче спекулянтов-фарцовщиков. А эти – ненавистные, тупорылые, советские, уродующие детскую ступню. Китайские кеды, в которых молодая тетя Бетя покорила то ли Тянь-Шань, то ли предгорья Урала.

Как весело мелькает сапожная щетка, и вот уже узкие носочки блестят, вытанцовывают, нетерпеливо стрекочут по лестнице...

Хлопает входная дверь, подгоняемая сквозняком, – ты там недолго, слышишь! Чтоб в десять как штык!

Дом, оставшийся позади, кажется постылым, в нем застоявшийся плотный воздух, особенно зимой. Морозный ветер врывается в юные легкие, шапка срывается с головы, позади хлопает форточка.

Градусник. Я точно помню, я положила его сюда, на клеенку. Или все-таки под. Там еще были старые коробочки из-под лекарств, но-шпа, таблетки активированного угля. Почему не выбрасываю? Ну, мало ли что. Все еще может пригодиться. В этой коробочке шнурки. А в этой – крышечки. Все нужное. Здесь квитанции за электричество, метрика, свидетельство о жизни. Кнопочный телефон, старая нокия. Иногда я нажимаю на кнопку, слушаю сообщения. Как будто вчера.

Документы в кожаном портфеле, забытом на сидении троллейбуса. Троллейбус разворачивался, огибал площадь, и что-то в груди ширилось... разрасталось. Чувство жизни, ее неотъемлемого присутствия. Как первая любовь, необязательно, впрочем, первая. Просто любовь, наполняющая до кончиков пальцев. Шестнадцатый троллейбус. Плавный разворот. Застывшие купола соборов. Туда, наверх, в дом на улице Артема. Улицы, то ширясь, то сужаясь, надвигаются, разбегаются, исчезают. Ворох коричневых листьев, первый снег, сухой, мелкий, как манная крупа...

Не помню, с чего все началось. Возможно, со старого приемника, который казался вечным, и стоял вот в этом углу. Там – топчан, здесь печатная машинка и приемник. Там вязальные спицы и пряжа. Вывройки из модного журнала. Справочник, большой русско-французский словарь с множеством закладок.

Или с тех самых разношенных кед. Их же носить и носить, это тети Бетины, с историей.

Или с кожаного портфеля, забытого на заднем сидении. Потертого, с тремя отделениями, с таким чудным замочком. Правда, язычок то и дело западал...

Возможно, все дело в ртутном термометре. О чем говорить... Он показывал самую точную температуру. Таких больше нет. Не делают. Лежал вот здесь, никому не мешал. На клеенке. Или все-таки под... Главное, чтобы он не разбился. Боже тебя сохрани! Помнишь, как в доме напротив.